

НЕ ОТВЕЧАЙ

КОНЮШЕНКО ЕГОР



МАГАЗИН

МАГАЗИН

АПТЕКА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Егор Конюшенко

Не отвечай

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Не отвечай / Е. Конюшенко — «Автор», 2026

В этой книге есть только одно главное правило: «Не отвечай». Ни на стук из пустой стены, ни на шёпот из колодца, ни на приглашение войти в дом, которого не существует. Однако герои сборника вновь и вновь забывают об этом — и за каждое забытое слово им приходится расплачиваться: пальцами, сном, душой или собственной улыбкой, навеки застывшей на фарфоровом лице. Это хоррор о цене выбора между простым любопытством и короткой отсрочкой, которую дарит Смерть в обмен на работу. Если вы всё же ответите на стук, узнаете ли вы, кто придёт за вами — или ответ окажется единственным, что вам действительно нужно было услышать?

© Конюшенко Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

История №1. Фарфоровая улыбка	6
История №2. В метро после закрытия станций	11
История №3. Мы все утонем в среду	16
История №4. Такси до кладбища, пожалуйста	21
История №5. Мы тебя ждали	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Егор Коношенко Не отвечай

История №1. Фарфоровая улыбка



Я всегда гордился своими зубами. Не то чтобы я сверкал ими при каждом удобном случае, но они и вправду были хороши: ровные, белые, ни единой пломбы в тридцать два года. Мать говорила — порода, мол, у деда до семидесяти всё своё было. Я и к стоматологу ходил раз в год, чисто для галочки, и всякий раз врач качал головой: «С таким набором, батенька, только в музее стоматологии выставляться». Вот поэтому, когда мне в руки попала та фарфоровая челюсть, я сперва даже не понял, что это за штука.

Дело было в субботу. Я помогал тётке разбирать старый дом — она переезжала в квартиру, а бабкину деревенскую избу, бревенчатую, с печью и скрипучими половицами, решили продать. По углам пахло сухой полынью, пыльным тряпьем и временем. Я разбирал чердак, скидывал вниз коробки со слежавшейся одеждой, подшивки «Крестьянки», пожелтевшие газетные кипы. В дальнем углу, за печной трубой, пальцы наткнулись на небольшой деревянный ларец.

Он оказался неожиданно тяжёлым, обитым потемневшей латунью. Замка не было — только кованый крючок. Я поддел его, и крышка подалась с тихим, протяжным скрипом. Внутри, на выцветшем малиновом бархате, лежала челюсть.

В первый миг я принял её за старинный протез. Но, приглядевшись, понял — нет. Во-первых, она была неестественно маленькой, почти детской. Во-вторых, материал — не пластмасса и не эбонит, а самый настоящий фарфор. Тонкий, полупрозрачный, с едва заметным голубоватым отливом, какой бывает у дорогого костяного фарфора. Каждый зуб вылеплен отдельно, со своими бугорками и лёгкой кривизной, как у живого человека. Дёсны — бледно-розовые, с тончайшими сосудистыми прожилками. Всё это держалось на микроскопических металлических пружинках, позволявших челюсти открываться и закрываться с лёгким щелчком.

Я взял её в ладонь. Фарфор был холодный и гладкий, точно яичная скорлупа. Челюсть послушно разомкнулась, обнажив ровный ряд зубов и аккуратный, подвижный язычок из того же материала. На нёбе, если присмотреться, виднелась гравировка — крошечные буквы: «Улыбайся, и мир улыбнётся тебе».

— Что за чёрт... — пробормотал я и, недолго думая, сунул находку в карман куртки. Тётке показывать не стал — она бы точно сморщилась и выкинула, а мне стало жаль. Вещица старинная, возможно, антикварная. Продам или оставлю как диковину.

Вечером я вернулся в город, в свою съёмную студию на окраине. Квартирка маленькая, но обжитая: диван, стол, компьютер, полка с книгами. На подоконнике — кактус, поливаемый раз в месяц. Одинокая жизнь холостяка-программиста — что тут добавишь.

Я положил фарфоровую челюсть на стол, прямо возле клавиатуры. Она лежала и словно улыбалась мне в полумраке комнаты — мягко, понимающе. Я потрогал её ещё раз, повертел в пальцах, ощущая неживую гладкость. Потом зевнул, машинально почистил зубы — свои, родные — и лёг спать.

Ночью приснился сон. Будто я стою перед зеркалом в ванной и улыбаюсь. Но улыбка не моя. Губы разъезжаются шире, чем предписано природой, обнажая зубы — белые-белые, с тем самым голубоватым отливом. Я пытаюсь сомкнуть рот, но мышцы лица предают меня, деревенеют. Улыбка ширится, в уголках губ лопается кожа, а зубы скалятся, скалятся, скалятся...

Я проснулся в холодном поту. За окном едва брезжил рассвет. Первым делом я провёл языком по зубам, ощупал пальцами лицо. Всё на месте, всё свои. Живые. Выдохнул.

Челюсть лежала на столе, там же, где я её оставил. Я взял её, зачем-то убрал в ящик стола, подальше с глаз. Может, и правда выбросить, мелькнуло в голове.

Но не выбросил. Забыл. Работа, дедлайны, сериалы — закрутился.

Прошла неделя. Я заметил, что при чистке зубов стала кровоточить десна. Совсем чуть-чуть, розовая пена на щётке. Подумал — щетина жёсткая, сменил на самую мягкую. Не помогло.

Потом зубы начали ныть — не сильно, тянущей, глубинной болью, будто каждый слегка расшатал в лунке. Я грешил на сквозняки, прополоскал рот ромашкой, боль на время утихла.

Ещё через пару дней, ужиная, я ощутил, как на зубах что-то хрустнуло. Машинально подумал — рыба кость. Выплюнул в ладонь и обмер. На ладони лежал осколок моего собственного зуба: маленький, острый, мелово-белый.

Я бросился к зеркалу. Верхний правый резец был сколот изнутри, ровно, будто по нему прошлись надфилем. Холодный пот прошиб спину. Я тут же позвонил в стоматологию — у них нашлось окно на завтра, в десять.

Ночь я не спал. Ворочался, прислушивался к ноющей боли, которая словно ползла вглубь челюсти. Несколько раз вставал, шёл в ванную, разглядывал скол. Он не менялся, но мне чудилось, что остальные зубы стали как-то иначе преломлять свет. Слишком ярко. Слишком бело.

Утром я поехал в клинику — обычную районную стоматологию в серой пятиэтажке с облупившейся краской. В коридоре пахло лекарствами и липким, детским страхом. Я сидел в очереди, тупо листал телефон. Наконец вызвали.

Врачом оказалась женщина лет пятидесяти, полная, в очках с мощными линзами. Анна Сергеевна. Она усадила меня в кресло, включила лампу, заглянула в рот.

— Та-ак... Скол вижу. А ну-ка, откройте пошире, — она долго осматривала, цокала языком, бормотала. Потом выключила лампу и стянула перчатки.

— Что там? — спросил я, вытирая салфеткой губы.

— Странно, — сказала она, глядя куда-то поверх моей головы. — Очень странно. Эмаль меняет структуру. Становится более плотной, но при этом хрупкой. Словно фарфор.

Я вздрогнул.

— В каком смысле — фарфор?

— Вот, смотрите, — она развернула ко мне монитор со снимком. — Корни истончаются, а коронковая часть уплотняется и стекленеет. Я такого никогда не видела. Это не кариес, тут нужна биопсия, челюстно-лицевой хирург. А пока зашлифую и поставлю временную пломбу.

Она обработала скол, заполнила дефект. Я вышел из клиники с онемевшей щекой и липким, смутным ужасом, поселившимся где-то под диафрагмой.

Дома я первым делом полез в ящик стола. Фарфоровая челюсть лежала на месте. Я поднёс её к свету — и похолодел.

Она изменилась.

Теперь в ней насчитывалось тридцать два зуба — полный взрослый комплект. Я точно помнил: на чердаке их было двадцать восемь, как у ребёнка. Я пересчитал снова, надавливая дрожащим пальцем на каждый бугорок. Тридцать два. И один из верхних резцов справа был сколот — точь-в-точь как мой.

Я выронил челюсть на стол. Она стукнула с тонким фарфоровым звоном — дзынь — и осталась лежать, улыбаясь в потолок своей неестественной, мёртвой улыбкой.

— Этого не может быть... — прошептал я.

Схватил телефон, сфотографировал челюсть, потом — свой скол в зеркале. Сравнил. Идентично. Один в один.

В ту ночь сон вернулся, теперь длиннее и беспросветнее. Я стоял в полутёмной комнате, передо мной на стуле сидела девочка лет десяти: худая, бледная, в старомодном платье с кружевным воротником, волосы заплетены в две тугие косы. Она смотрела на меня и улыбалась — слишком широко для детского лица. Зубы её были фарфоровыми.

— Мне нужны твои, — сказала она тонко, почти пропела. — Мои старые сломались. Дядя доктор сделал новые, но они плохие. А у тебя хорошие. Тёплые. Дай мне.

Я попытался бежать, но ноги будто вмуровали в пол. Девочка встала, подошла вплотную и потянулась к моему рту холодными пальцами.

— Улыбайся, — прошептала она. — И мир улыбнётся тебе.

Я проснулся с криком. Сосед за стеной врезал кулаком — мол, тихо. Я сидел на кровати, судорожно трогал зубы языком. Пломба на месте, остальные вроде целы. Но боль в дёснах вернулась, теперь уже отчётливая, пульсирующая.

Утром я позвонил тётке.

— Тётъ Вер, слушай, а дом-то чей был, до бабушки?

— Да бабушкин, матери моей. А что?

— А до неё? Кто там жил?

Тётка задумалась.

— Да много кто. Дом старый, ещё до революции строили. Бабка рассказывала, будто жила там семья с ребёнком, ещё до войны. Девочка болела чем-то костным, зубы у неё крошились, выпадали. Ей, сказывали, какой-то доктор особенные фарфоровые зубы сделал — по тем временам чудо. А потом они съехали, и дом деду продали. А ты к чему?

— Да так, — выдавил я. — Спасибо, тётъ Вер.

Я повесил трубку. Руки дрожали.

Вечером я сидел за компьютером, рылся в интернете. Фарфоровые зубы начала века, болезни костей, аномалии. Наткнулся на статью из архива местной газеты за 1913 год. Писали о докторе Фёдоре Михайловиче Соболеве, известном в губернии специалисте по челюстно-лицевой хирургии и протезированию. Он разработал уникальную технологию фарфоровых протезов, неотличимых от настоящих. Его пациенткой была юная дочь купца, страдавшая разрушением зубов. Доктор изготовил ей полный комплект. Девочка снова могла есть и улыбаться. А через год Соболев пропал без вести. И девочка тоже.

Дальше шла мутная фотография: мужчина с усами и в пенсне, а рядом — худенькая девочка с косами. Та самая.

Я отшатнулся от монитора. Сердце колотилось у самого горла. Я полез в ящик за челюстью, чтобы рассмотреть её ещё раз. Открыл ящик — пусто.

Я перерыл весь стол. Нигде.

— Да где же...

И тут из ванной донёсся звук — тихий, но отчётливый. Будто кто-то скрёб зубами по кафелю.

Я медленно встал и пошёл по коридору. Дверь была приоткрыта. Толкнул.

На полу, возле унитаза, лежала фарфоровая челюсть. Она двигалась. Неуклюже, рывками, перебирая металлическими пружинками, она ползла по плитке, размыкая и смыкая челюсти с тихим клацающим звуком.

Я замер. Она ползла ко мне.

Захлопнув дверь, я отскочил и прижался спиной к стене. С той стороны раздалось царапанье, потом всё стихло. Я стоял, пытаюсь унять дыхание, и в голове билась одна мысль: она живая. Она хочет мои зубы.

Всю ночь я просидел на кухне с кухонным ножом в руке, прислушиваясь. Из ванной временами доносилось — клац, клац. Под утро всё смолкло.

Когда рассвело, я осторожно приоткрыл дверь. Челюсть лежала в раковине, неподвижная. Я двумя пальцами, брезгливо, как дохлую мышь, взял её и бросил в мусорное ведро. Потом оделся, вынес ведро на помойку и с облегчением вернулся.

Дома выпил кофе, встал перед зеркалом чистить зубы. Взял щётку, выдавил пасту, поднёс ко рту. И застыл.

В зеркале я увидел свою улыбку. Но я не улыбался. Губы были плотно сжаты, однако отражение растягивало их всё шире и шире, до самых ушей, обнажая зубы — белые-белые, с голубоватым отливом. Фарфоровые.

Я выронил щётку. Дотронулся до лица — губы сжаты. А в зеркале кожа в уголках рта пошла трещинами, и из них проступила не кровь, а тонкая, глянцевая белая глазурь.

Я закричал. И в этот миг почувствовал, как мои собственные зубы зашевелились в дёснах — все разом. Язык ощущал их противоестественную подвижность, словно они держались уже не в кости, а в чём-то мягком, податливом.

Я схватился за щёки. Под пальцами кожа была холодной и твёрдой. Как фарфор.

Позади меня, из кухни, донеслось клацанье. Я обернулся. Мусорное ведро стояло на своём месте — хотя я точно помнил, как выносил его на помойку. Крышка приподнялась, и оттуда показалась челюсть. Она выросла. Теперь это была челюсть взрослого человека, и в ней зияли прорехи — именно тех зубов, которые шатались у меня во рту.

Челюсть улыбнулась мне. Клянусь, она улыбнулась.

А потом мои зубы начали выпадать. Один за другим они с тихим стуком сыпались в раковину — белые, блестящие, фарфоровые. Я открывал рот, чтобы закричать, но из горла вылетали только осколки и облачка белой пыли.

Последнее, что я увидел в зеркале перед тем, как потерять сознание, — собственное лицо, превратившееся в фарфоровую маску с навеки застывшей широкой улыбкой и пустыми глазницами, из которых сыпалась тонкая костяная крошка.

Очнулся я в больнице. Белые стены, белые простыни, белый потолок. Капельница в вене. Во рту — пустота и горький привкус медикаментов.

Врачи сказали: припадок, нервный срыв. Я разбил зеркало, изрезал лицо, потерял много крови. Соседи вызвали скорую, услышав крики. О зубах — ни слова. Я попросил зеркало.

Медсестра долго не соглашалась, но я настоял. Когда она принесла маленькое ручное зеркальце, я долго не решался взглянуть. Потом поднёс к лицу.

На меня смотрел я — обычный, с зашитой щекой и синяком. Я осторожно приоткрыл рот. Зубы на месте, живые, не фарфоровые. И скол на резце с временной пломбой — там же.

Я выдохнул. Может, и впрямь бред, галлюцинация от переутомления.

Через три дня меня выписали. Дома было тихо и пусто. Мусорное ведро и впрямь исчезло — наверное, я всё-таки вынес его в то утро. В ванной висело новое зеркало, поставил хозяин. Я начал жить дальше: работа, дом, сериалы. О челюсти старался не думать. Но иногда по ночам из тёмных углов комнаты мне чудилось тихое, переливчатое клацанье.

Прошёл месяц. Я почти убедил себя, что всё случившееся — плод больного воображения. Почти.

А вчера, чистя зубы перед сном, я машинально глянул в зеркало и заметил, что мои дёсны приобрели неестественный бледно-розовый оттенок — ровный, безжизненный, как у подкрашенного фарфора.

Я замер. Присмотрелся. Провёл пальцем по десне. Гладкая, твёрдая, холодная. Как глазурь на чайной чашке.

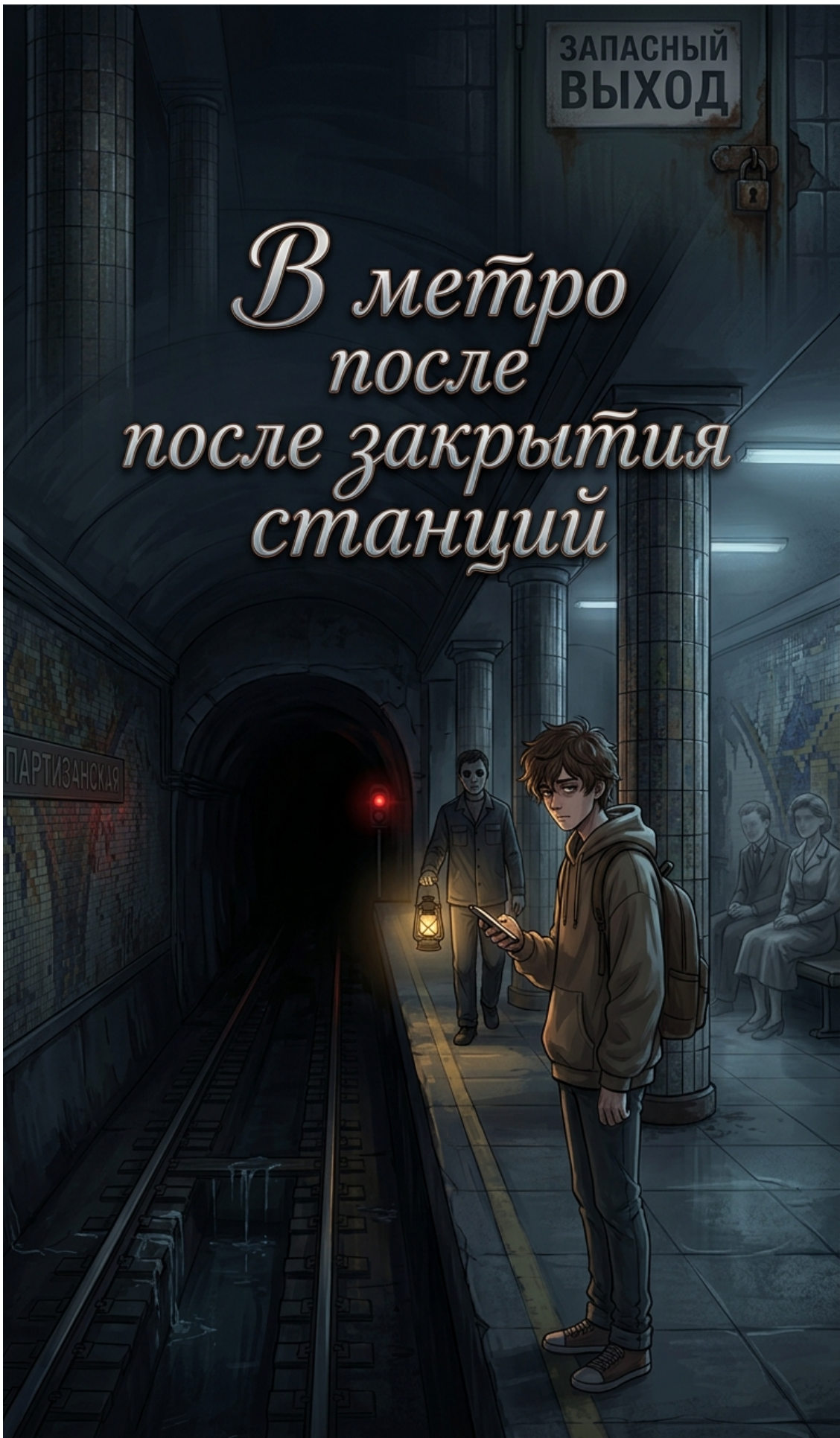
Открыл рот шире. На внутренней стороне верхней губы, прямо под носом, проступила крошечная надпись, выгравированная словно иглой по фарфору:

«Улыбайся, и мир улыбнётся тебе».

Я закрыл рот. Посмотрел в зеркало на своё лицо. На свои зубы. На свою улыбку, которая теперь всегда со мной.

И улыбнулся.

История №2. В метро после закрытия станций



Я никогда не любил метро — не из-за боязни эскалаторов или давки в час пик, а из-за самого ощущения подземелья. Воздух там спёртый, настоящий на железе и резиновой пыли, а свет люминесцентных ламп — неестественный, мертвенный, будто вываренный в формалине. И этот гул: постоянный, низкий, вибрирующий где-то под грудиной. Точно огромный зверь дышит во сне.

Но в тот вечер выбора не оставалось. Я задержался на работе далеко за полночь, живу на другом конце города, наземный транспорт уже не ходил, а такси стоило неприлично дорого. Я почти бегом бросился к метро — вдруг успею на последний поезд.

Стрелки показывали около половины первого. Станция «Партизанская» из тех старых, глубоких, с гранитными колоннами и выщербленной мозаикой на сводах. В вестибюле — ни души, лишь сонный полицейский клевал носом у входа да пара уборщиц с ведрами мелькнули в переходе. Я приложил карточку к турникету, проскочил и почти бегом ссыпался по эскалатору. Ступени уходили в желтоватый сумрак внизу, и мерещилось, будто спускаюсь в глотку, в самое нутро этого зверя.

Платформа встретила меня пустотой. Горели лампы, гудела вентиляция, круглые часы под потолком скалились чёрными стрелками. Я подошёл к краю, заглянул в тоннель. Темнота там стояла плотная, почти физическая — хоть ножом режь. Где-то далеко-далеко подмаргивал красный глаз светофора.

Ждал пять минут, десять. Поезда не было. Я нервно взглянул на часы: половина первого, последний состав ещё должен ходить, я точно помнил расписание. Подошёл к дежурной будке в начале платформы. За тёмным стеклом — пустота.

— Эй! Есть кто?

Только гул вентиляции ответил мне, ровный и равнодушный.

Я двинулся вдоль платформы, заглянул за колонну — никого. На скамейке сиротливо лежала забытая перчатка. Я поднял голову к табло: погашено.

И тут свет мигнул. Раз, другой. Лампы зажужжали, будто рой мух, и погасли разом. Осталось только аварийное освещение — редкие желтоватые лампочки над дверями служебных помещений.

Я оказался в полумраке, один, на глубине полусотни метров под землёй.

— Да ладно... — выдохнул я, и сердце застучало часто-часто, отдаваясь в висках.

Достал телефон, включил фонарик. Луч выхватил из мрака гранитный пол, край платформы, маслянисто блеснувшие рельсы внизу. Посветил в тоннель — чернота, и где-то мерно капала вода.

Я заторопился обратно к эскалатору. Может, он ещё жив, может, удастся подняться. Но лента замерла: ступени уходили вверх, в сплошную черноту, и перила холодили пальцы мёртвым металлом.

— Заперли, — произнёс я вслух. Голос вышел глухой, без эха, словно темнота сожрала его.

Вернулся на платформу, сел на скамейку. Попытался позвонить — связи не было совсем, даже экстренные вызовы молчали. Телефон показывал «Нет сети» и два процента заряда.

Выругавшись шёпотом, я выключил фонарик, чтобы экономить батарею. В навалившейся темноте стало совсем тоскливо. Я слышал собственное дыхание, стук сердца — и ещё кое-что. Далёкий, ритмичный стук. Будто кто-то размеренно шагал по рельсам.

Я замер. Звук приближался. Не шаги — что-то металлическое. Стук. Стук. Стук.

Включил фонарик, направил в тоннель. Луч скользнул по рельсам, гравию, лужам. Метрах в ста впереди я увидел фигуру.

Человек шёл по путям — медленно, размеренно. В руке он держал старый керосиновый фонарь с живым, коптящим огоньком. Одет в тёмную робу путевого рабочего, на голове каска. С каждым шагом шпалы под ним отзывались глухим эхом.

Я вскочил.

— Эй! Помогите! Я тут застрял!

Человек остановился. Поднял фонарь выше, и жёлтый свет упал на его лицо.

Лучше бы я этого не видел.

Лица не было. Нет, черты угадывались, но какие-то смазанные, словно невидимый ластик прошёлся по рисунку. Вместо глаз — тёмные провалы. Рот — узкая щель, и она двигалась, будто человек что-то безостановочно жевал.

Я отшатнулся, фонарик в руке заплесал. Существо постояло, глядя на меня пустыми глазами, потом медленно развернулось и побрело дальше по тоннелю. Стук. Стук. Стук. Звук таял, пока не растворился в отдалённом гуле.

Я вжимался спиной в холодную колонну, ноги сделались ватными. «Показалось. Мало света, воображение разыгралось», — уговаривал я себя, но зубы уже выбивали мелкую дробь.

Снова сел на скамейку, пытаюсь успокоиться. Телефон показывал один процент. Стрелки на станционных часах застыли около часа ночи. Я просидел, наверное, ещё минут двадцать, вслушиваясь в каждый шорох. В тоннеле было тихо, пока я не услышал музыку.

Она доносилась откуда-то из глубины станции, из перехода. Старая, довоенная мелодия, словно из патефона. Женский голос пел по-французски, пластинка шипела, и звук этот был до жути неуместен здесь, в каменном мешке под землёй.

Я встал и двинулся на звук. Переход выложен белой плиткой, арки уходят в полумрак. В дальнем его конце горел свет — не аварийный, а живой, тёплый, желтоватый.

Я вышел на соседнюю платформу и застыл.

Она была полна людей. На скамейках неподвижно сидели мужчины в пальто и шляпах, женщины в платьях с кружевными воротниками, дети с ранцами. Все до одного смотрели в одну точку перед собой. Одежда на них была старомодная, будто из сороковых годов. И у всех — ни единого лица. Те же смазанные черты, тёмные глазные провалы, застывшие в безмолвном ожидании.

Посреди платформы стоял граммофон с огромной трубой, с него-то и лилась музыка. Рядом, заложив руки за спину, стоял человек в форме машиниста: фуражка, китель, галифе. Единственный, у кого было лицо — обыкновенное, человеческое. Пожилое, усатое, с усталыми, покрасневшими глазами. Он посмотрел прямо на меня.

— Опоздываете, гражданин, — произнёс он спокойно, и голос его прозвучал глухо, будто из бочки. — Последний состав уже ушёл.

— Я... я застрял, — слова давались с трудом. — Мне нужно наверх.

— Наверх? — он усмехнулся уголком рта. — Наверх больше не пускают. Станция закрыта. Теперь только вниз.

— В какой вниз? — я попятился.

Машинист кивнул в сторону тоннеля.

— Туда. Там ещё станции. «Садовая», «Кольцевая», «Тупиковая». Поезда ходят, но редко.

Я перевёл взгляд на неподвижных людей. Они не дышали, не шевелились, и тишина стояла такая, что даже шипение пластинки казалось оглушительным.

— Кто они? — спросил я шёпотом.

— Пассажиры, — просто ответил он. — Тоже опоздали. Теперь ждут. Ждут своего поезда.

— Какого поезда?

Он не ответил, лишь посмотрел на меня долго, с каким-то тусклым сожалением.

— Уходите отсюда, — сказал он тихо. — Пока не сели. Идите путями в сторону «Садовой». Там есть запасной выход. Может, ещё успеете.

— А вы?

— А я при них, — он кивнул на неподвижные фигуры. — Моё дежурство бессменное.

Я не стал больше спрашивать. Резко развернулся и почти побежал обратно через переход на свою платформу. Музыка за спиной стихла, и тишина навалилась свинцовой плитой.

Добежав до края платформы, я спрыгнул на пути. Гравий просел под ногами, запорошил ботинки серой пылью. Включил фонарик, осветил вперёд: рельсы, поблёскивая маслянистым блеском, убежали в беспросветную темноту. Я зашагал по шпалам, стараясь не оступаться. Шаг. Ещё шаг. Ещё.

В тоннеле было холодно, со стен свисали провода, трубы, какая-то чёрная пакля. Где-то капала вода, и каждый звук отзывался многократным эхом. Мне всё время казалось, что за мной кто-то идёт — я резко оборачивался, но луч фонаря выхватывал лишь пустоту.

Шёл я, наверное, минут двадцать, пока впереди не забрезжил свет — слабый, мерцающий. Ещё одна станция. Я ускорил шаг, почти побежал и выбрался на платформу.

«Садовая». Старая, заброшенная станция, о которой я когда-то читал — секретные объекты, построенные во время войны, не нанесённые на схемы. Стены обшарпаны, штукатурка осыпалась, обнажая кирпичную кладку. Под сводом одиноко мигала пыльная лампа. На платформе громоздились деревянные ящики, ржавые бочки, пахло сыростью, плесенью и чем-то кислым.

Я огляделся. Где-то здесь должен быть выход. Машинист сказал — может, успею. Двинулся вдоль стены, шаря лучом, и наткнулся на металлическую дверь с надписью «Запасный выход». Дёрнул ручку — заперто.

Навалился плечом. Бесполезно. Замок старый, ржавый, но сидел намертво. В отчаянии заметил у стены кусок арматуры, схватил, принялся бить по замку. Грохот стоял невероятный, искры летели, но металл не поддавался.

И тут я услышал его. Далёкий, нарастающий гул. Вибрация. Поезд.

Я обернулся к тоннелю. Оттуда тянуло тёплым ветром, пропитанным запахом горелой проводки. Гул быстро приближался, два жёлтых огня выплыли из темноты.

Я бросил арматуру, прижался к двери. Может, это обычный состав? Может, меня увидят, остановятся, помогут?

Состав вылетел из тоннеля на полном ходу. Это был не тот поезд, к которому я привык. Вагоны старые, деревянные, с маленькими подслеповатыми окнами. За мутными стёклами угадывались силуэты — множество силуэтов, прижатых к окнам. И все они смотрели на меня. Смазанные лица, тёмные провалы глаз.

Поезд пронёсся мимо, даже не притормозив. Ветер ударил в лицо, принеся запах тлена и слежавшейся одежды. Я зажмурился. Когда открыл глаза, хвост состава уже исчезал в противоположном тоннеле. Гул стих.

Я остался на платформе один. Колени подогнулись, и я сполз спиной по стене на холодный пол.

— Не успел, — раздался голос над ухом.

Я вскинул голову. Рядом стоял машинист в фуражке. Тот самый, с «Партизанской». Но теперь и его лицо поплыло: черты смазывались, словно воск на огне, глаза стали тёмными ямами.

— Ты теперь с нами, — произнёс он, и голос его звучал глухо, будто из-под воды. — Будешь ждать своего поезда.

— Какого поезда? — закричал я, срывая горло. — Куда он идёт?

— В Конечную, — ответил он. — Все туда едут. Рано или поздно.

И истаял. Просто растворился в воздухе, как дым.

Я остался. Телефон погас окончательно. Темнота обступила со всех сторон — плотная, вязкая, дышащая. Я сидел на полу заброшенной станции и слушал тишину. Иногда из тоннеля доносился далёкий гул — шёл очередной поезд. Но я уже знал: он не остановится.

Не знаю, сколько прошло времени. Телефон давно сдох, голод и жажда ушли, сменившись постоянным, глубинным холодом. Лишь ожидание — бесконечное, как сам тоннель. Я иногда встаю, брожу по платформе, всматриваюсь в темноту. Там изредка мелькают огни. Я машу руками, кричу до хрипоты, но поезда проносятся мимо.

Один раз снова видел путевого рабочего с керосиновым фонарём. Он прошёл по путям, остановился, уставился на меня пустыми глазницами. И двинулся дальше. Стук. Стук. Стук.

Я нашёл на стене выцарапанную чем-то острым надпись: «Не жди. Иди пешком. До следующей станции три километра. С. 1987». Думал пойти. Но куда? В какую сторону? Тоннели одинаковы — тёмные, бесконечные, населённые теми, кто не успел на последний поезд.

Иногда я снова слышу музыку. Она доносится откуда-то издалека, из перехода на «Партизанскую». Старая пластинка, женский голос на французском. И мерещится, что если пойти на звук, я снова увижу платформу с неподвижными пассажирами. И машиниста. И граммофон. Но я боюсь. Боюсь, что если вернусь, уже не смогу уйти. Сяду на скамейку и буду ждать, как они. Вечно.

Поэтому я сижу здесь, на «Садовой», у запертой двери запасного выхода. Смотрю в темноту и слушаю гул поездов. Мой ещё не пришёл.

Но я знаю, что придёт. Обязательно придёт.

Потому что метро не отпускает тех, кто остался после закрытия. Оно забирает их себе. Медленно, по одному. Превращает в тени на платформе, в силуэты в окнах проносящихся составов.

Я слышу шаги в тоннеле. Кто-то идёт. Может, новый опоздавший. Может, путевого рабочего. Может, машинист.

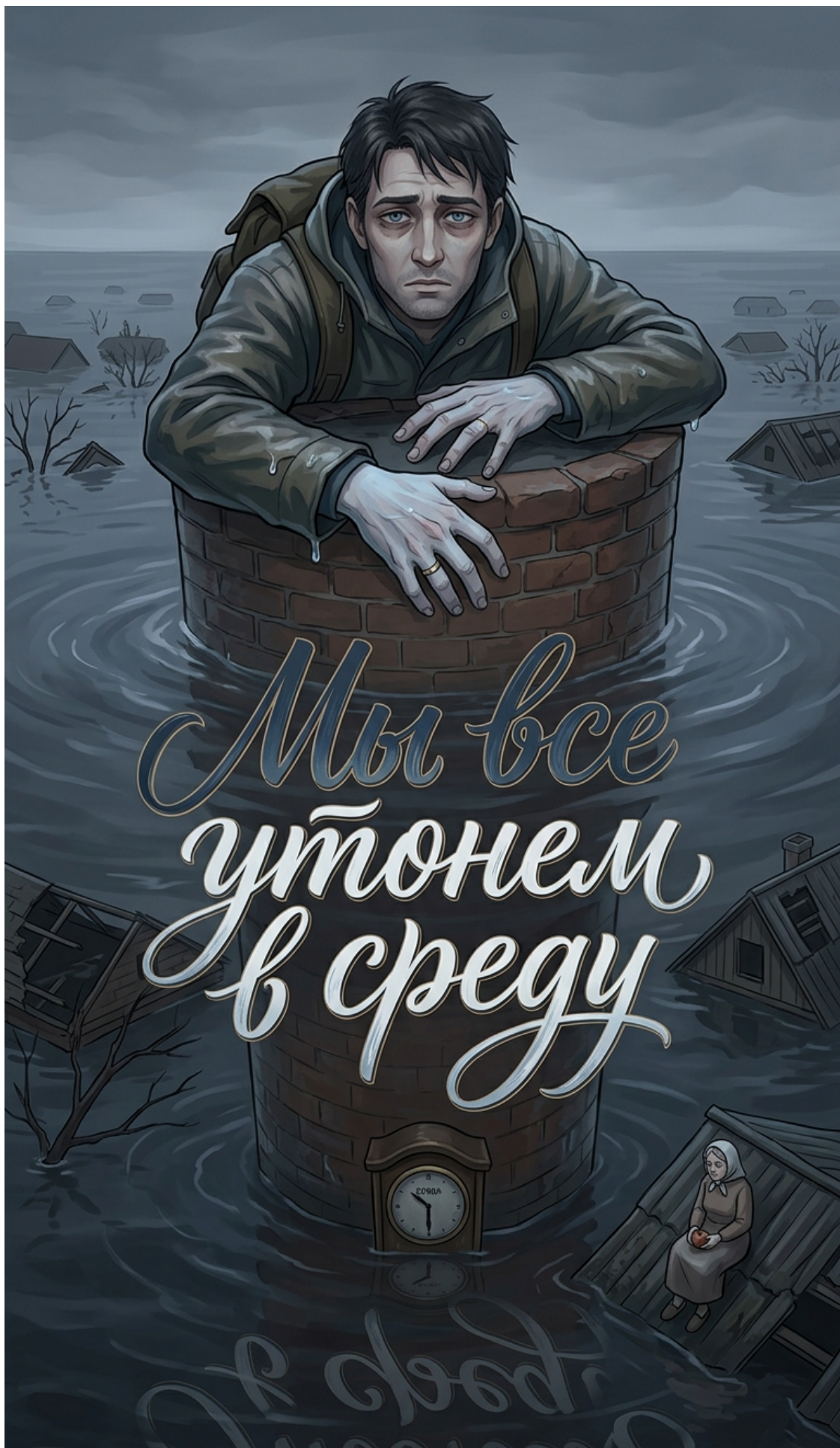
Я уже не разбираю. Я просто жду.

И вам советую — никогда не оставайтесь в метро после закрытия. Бегите, лезьте через турникеты, кричите, стучите в двери дежурного. Делайте что угодно, но не задерживайтесь на платформе, когда гаснет свет и замирает эскалатор. Потому что потом будет поздно.

Потом останется только ждать поезда. Который идёт в Конечную.

А Конечная — она у всех одна. И билет туда не купить в кассе. Его просто выдают. Всем, кто задержался.

История №3. Мы все утонем в среду



Городок наш стоит на реке. Это первое, что вам скажут, если вы спросите про Сосновку. Реку зовут Тихая, но имя — обман. Она не тихая. Она медленная, сонная, будто старая змея на прогретом солнцем камне, но под маслянистой поверхностью у неё свои течения, бездонные омуты, ледяные ключи, которые хватают за ноги и тянут вниз. В детстве нам запрещали купаться без взрослых. Все знали: Тихая каждый год кого-то забирает. То пьяный рыбак с лодки вывалится, то мальчишка с мостков соскользнёт. Утопленников искали неделями, а то и не находили вовсе. Шептались, что река держит их у себя, на дне, среди коряг, и не отпускает.

Но это всё было раньше. Сейчас я про другое.

Мне сорок два года. Работаю сторожем на старой водокачке за городом — место глухое, тихое, как раз для меня. После того как жена ушла и дочь забрала, я не мог находиться среди людей: слишком много шума, слишком много пустых разговоров. А здесь — только я, насосы, мерное дыхание труб да плеск воды в отстойниках. И ещё календарь на стене, отрывной, с крупными чёрными цифрами на серой бумаге. Каждое утро я рисую крест на числе вчерашнего дня. Это мой ритуал, чтобы не соскользнуть во времени.

Всё началось в прошлый понедельник. Хотя нет, началось оно гораздо раньше, просто я не замечал. А в тот понедельник заметил.

Я сидел в своей сторожке, кирпичной будке с единственным окошком, выходящим на реку. Пил чай из жестяной кружки, смотрел, как мелкий дождь морщинит тёмную воду. Тоска. Взял календарь, хотел зачеркнуть число — и замер.

Вчерашнее число уже было зачеркнуто. Я точно помнил, что не трогал бумагу. По утрам воскресенья я проспал до обеда и забыл про ритуал, но теперь, в понедельник вечером, календарь показывал понедельник. Выходило, что кто-то сделал это за меня.

Я вышел на крыльцо, обвёл глазами территорию. Ворота на замке, забор цел, даже проволока поверху не тронута. Собаки нет — только кошка Дымка, но она бумагу не чиркает, ей мышей подавай. Вернулся, уставился на календарь. «Ладно, — подумал, — может, машинально зачеркнул и забыл. С кем не бывает».

Во вторник я поехал в город за продуктами. Автобус ходит раз в три часа, народу — раз-два и обчёлся. В магазине встретил соседку, тётю Клаву, что живёт через три дома от водокачки. Она стояла у прилавка и разглядывала банку кильки в томате, поворачивая её так и сяк, будто читала невидимый текст.

— Здравствуйте, тётъ Клав, — сказал я, накладывая в корзину хлеб и макароны.

Она обернулась. Глаза у неё были красные, воспалённые, словно она не спала целую вечность.

— Здравствуй, Петя, — отозвалась она почти шёпотом. — Ты слышал?

— О чём?

— Завтра среда. Говорят, в среду все утонем.

Я усмехнулся.

— Кто говорит-то?

— Все, — она обвела пустой магазин вялой рукой. — Утром по радио передавали. Штормовое предупреждение. Вода поднимется, дамбу прорвёт... Или ещё что. Я точно не запомнила. Но в среду.

Я купил продукты, сел в автобус и уехал. По дороге думал: старая совсем тётя Клава, семьдесят пять, вот мозги и плывут. Какая дамба? У нас и дамбы-то нет — только древняя плотина у заброшенной мельницы выше по течению, которую не ремонтировали с царя Гороха.

Вечером, уже во вторник, я сидел в сторожке, слушал радио. Шипело, трещало, ловило только местную волну. Передавали сводку погоды: завтра облачно, возможны осадки, ветер юго-западный. Никакого штормового предупреждения.

Я зачеркнул вторник. За ним шла среда — число в ячейке таблицы очередного месяца. Я почему-то долго смотрел на него. Потом лёг спать.

Проснулся в среду от тишины. Птицы молчали. Обычно у реки их полно — чайки, утки, какие-то пичужки, — а тут ни звука, только плеск воды о сваи.

Я вышел на крыльцо. Небо висело серое, низкое, как ватное одеяло, пропитанное влагой. Воздух пах сыростью и сладковатой гнилью, будто водоросли на отмели. Река за ночь поднялась — я сразу заметил. Мостки, с которых я иногда ловил рыбу, скрылись под водой на полметра. Сама вода стала тёмной, маслянистой и текла заметно быстрее обычного, закручивая мутные воронки.

Я позавтракал, проверил насосы — всё работало. Потом сел на лавочку у воды, закурил, глядя, как мимо плывут ветки, мусор, какие-то доски. Река несла их быстро, крутила в водоворотках, будто играла.

Часа в два дня я услышал крик. Кричали со стороны посёлка. Я вскочил, побежал по тропинке вдоль берега. У крайнего дома, где жила тётя Клава, сгрудились люди — человек десять, всё местные. Они стояли у кромки воды и молча смотрели на реку.

Я подошёл. Тётя Клава стояла по колена в воде, в своём старом плаще и резиновых сапогах. Лицо у неё было спокойное, почти радостное. Она прижимала к груди фотографию мужа — дяди Коли, который утонул лет пятнадцать назад.

— Клава, выйди из воды! — крикнул кто-то.

— Завтра среда, — громко ответила она. — Мы все утонем в среду. А я не хочу ждать. Я к Коле хочу.

И побрела дальше. Вода уже доходила ей до пояса. Мужики бросились в реку, схватили её, выволокли на берег. Она не сопротивлялась, только улыбалась и смотрела на фотографию.

Я стоял и смотрел. И холодок пробежал не от её поступка — от её уверенности. Она в точности знала, что завтра среда. И что в среду все утонут.

Вечером я вернулся в сторожку. Включил радио. На местной волне играли старые песни, потом диктор сообщил: «Завтра ожидается повышение уровня воды в реке Тихая. Жителям прибрежных районов рекомендуется соблюдать осторожность». И всё. Ни слова о наводнении, о катастрофе.

Я осмотрел листок календаря. За средой шёл четверг. Лёг спать с мыслью, что к утру всё рассосётся и окажется дурным сном.

Утром первым делом глянул в окно. Вода поднялась ещё. Она подступила к самой сторожке, залила нижнюю ступеньку крыльца. Я вышел: река раздалась вширь раза в два, затопила луг на том берегу, течение несло бешеное, ворочая брёвнами, ящиками, а однажды пронесло целую перевёрнутую лодку.

Я вернулся в будку, глянул на календарь — и застыл.

Календарь показывал среду. Только среду. Числа показывали одно значение, а прочерки исчезли.

Я выскочил наружу и побежал в посёлок. Там творилось странное. Люди ходили по улицам, но двигались медленно, словно сквозь толщу воды. У некоторых в руках были узлы, чемоданы, но они не уезжали — просто стояли и смотрели на реку.

Я нашёл тётю Клаву. Она сидела на лавочке у своего дома, в том же плаще, и глядела на воду не мигая.

— Тётя Клав, какой сегодня день?

— Среда, — ответила она, не поворачивая головы. — И завтра будет среда. И послезавтра. Пока мы все не утонем.

Я попятился. Слова её падали тяжело, как камни в воду. Вернулся в сторожку, сел за стол, уставился на календарь. Может, я сошёл с ума? Может, всё это — долгий горячечный бред?

Но календарь не показывал других чисел. Перевернул лист. Та же картина. Даже месяц тот же. Плюнув, я снял календарь и выкинул его в воду. Я выдохнул с облегчением: завтра будет четверг. Иначе и быть не может.

Ночью снилась вода. Я захлёбывался, шёл ко дну, а надо мной, в зелёной толще, плавали лица — тётя Клава, мужики из посёлка, даже моя бывшая жена. Все они смотрели на меня и улыбались, как улыбаются старым знакомым.

Проснулся оттого, что в сторожке было сыро. Вода просочилась под дверь, по полу разлилась тёмная лужа. Я вскочил, посмотрел на календарь. Он стоял совершенно сухой на старом месте... И показывал одно число.

Среда.

Дрожащими пальцами я сделал новый росчерк.

Выбежал на улицу. Река прижималась к порогу сторожки, вода жадно лизала бетон. Посёлок в отдалении казался вымершим. Я побежал туда.

Улицы опустели, только вода. Она поднялась до окон первых этажей. Люди стояли в проёмах, на балконах, на крышах. И все до единого смотрели на реку. Никто не кричал, не звал на помощь — просто смотрели.

Я нашёл тётю Клаву. Она сидела на коньке крыши своего дома, свесив ноги, и сосредоточенно ела яблоко.

— Тётя Клав! Сколько уже сред?

— Не знаю, Петя. Я счёт потеряла. Может, десять, может, сто. Какая разница? Мы всё равно утонем. Рано или поздно.

— Но почему? Почему всё повторяется?

— Потому что мы не утонули в ту среду, — произнесла она почти ласково. — В самую первую, когда должна была прийти большая вода. А мы не утонули. Кто-то выжил. И теперь среда приходит снова и снова, пока не заберёт всех. Пока последний не уйдёт под воду.

Я смотрел на неё, и до меня медленно доходило. Я вспомнил. Детство, мне лет семь, и была большая вода. Река взбесилась, вышла из берегов, затопила половину поселка. Люди тонули, дома плыли. Но потом вода ушла. Все вернулись, отстроились, забыли. А река — не забыла.

— И что теперь? — спросил я.

— Ждать, — ответила тётя Клава. — Каждую среду вода поднимается выше. Когда-нибудь она накроет всех. И тогда среда кончится.

Я побрёл обратно. В сторожке вода стояла по щиколотку. Календарь на стене набух влажной, листки слиплись в серый ком, но показывали одно число.

Я забрался на стол, поджал ноги и стал ждать.

С тех пор минуло много сред. Я перестал их считать. Вода поднималась и поднималась. Сначала достигла пояса, потом груди. Я перебрался на чердак сторожки, потом на крышу. Посёлок почти скрылся, только верхушки домов торчат, словно поплавки заброшенных снастей. Люди сидят на крышах, на деревьях, на всём, что ещё держится над водой. Мы видим друг друга, машем руками, иногда перекрикиваемся. Но никто не пытается уплыть. Куда плыть? Вода повсюду.

Иногда я вижу, как кто-то соскальзывает в воду — без крика, почти без всплеска. Просто исчезает под поверхностью. И вода от этого не прибывает быстрее. Она поднимается сама по себе, каждую среду.

Я уже не боюсь. Привык. Это похоже на ожидание автобуса, который никогда не приходит, но ты знаешь, что он где-то есть. Только здесь наоборот: автобус обязательно придёт, и он заберёт тебя.

Я часто думаю о том дне, когда всё началось. О самой первой среде. Я был тогда ребёнком, но помню. Помню, как вода хлынула через порог, как мать тащила меня на чердак, как

захлёбывались криком соседи. А потом вода ушла. Мы выжили. Мы все выжили. И в этом, наверное, и была наша ошибка.

Река не прощает. Она терпеливая, как сама вечность. Может ждать годами, десятилетиями. Но если ты должен был утонуть — ты утонешь. Пусть даже ради этого времени придётся замереть на одной-единственной среде.

Вчера я видел, как ушла под воду тётя Клава. Она сидела на коньке крыши, ела яблоко, потом улыбнулась, помахала мне рукой и просто соскользнула вниз. Вода сомкнулась над ней без единого звука. Я думал, мне станет страшно или горько. Но внутри — только пустота, тихая, как река перед рассветом.

Теперь я остался один. Последний в Сосновке. Вода уже лижет ступни, я сижу на самой верхушке трубы водокачки, обхватив её руками. Сегодня среда. И я знаю, что завтра тоже будет среда, и вода поднимется ещё на ладонь. А потом ещё. Пока я не соскользну, как тётя Клава, и тогда всё кончится.

Я не злюсь на реку. Она просто делает свою работу. Я злюсь на себя — за то, что так долго не понимал, пытался жить обычной жизнью, в то время как календарь каждую среду кричал мне: «Ты уже утонул, просто ещё не знаешь об этом».

Вода холодная. Держусь из последних сил. Пальцы скользят по ржавому железу. Наверное, это моя последняя среда. Или предпоследняя — какая разница.

Я смотрю в серое небо, на бесконечную воду вокруг. И думаю: а что, если мы все утонули ещё в ту, первую среду? Что, если весь этот повторяющийся день — всего лишь наша общая предсмертная судорога, заевшая пластинка в умирающем мозгу, который не хочет признать, что тело давно лежит на дне, в корягах, где его никто не найдёт?

Может, так оно и есть.

Пальцы разжимаются. Вода принимает меня мягко, без всплеска, как старая знакомая. Я ухожу вниз, в зеленоватую темноту, и последнее, что вижу, — календарь, плывущий мимо. На нём одна и та же дата. Среда.

И тишина.

История №4. Такси до кладбища, пожалуйста



Дождь зашелестел, едва я вышел из бара, — не сильный, но колючий, мелкий, словно кто-то сыпал сверху холодную водяную пыль. Я стоял под козырьком подъезда, глядя на мокрый асфальт, в котором расплывались жёлтые кляксы фонарей, и пытался вызвать такси через приложение. Телефон упрямо твердил, что машин поблизости нет. Пятнадцать минут, двадцать, полчаса. Я уже готов был плюнуть и пойти пешком, но тут экран ожил: «Водитель назначен. Прибудет через три минуты».

Машина выплыла из-за угла почти бесшумно — старый седан, не разбери марку, цветом не то в тёмно-зелёный, не то в мокрый чёрный, в свете фонарей не угадать. Номера заляпаны грязью, будто он ехал сюда просёлками. Я сел вперёд — сзади громоздились какие-то коробки, перевязанные бечёвкой, и тряпьё.

Водитель — мужик лет пятидесяти, в тёмной куртке, кепка низко надвинута на глаза. Лицо худое, с глубокими складками у рта, словно трещинами на старой глине. Руки на руле жилистые, с взевшейся под ногти чернотой. В салоне пахло табаком и сладковатым, приторным — как будто здесь недавно лежали цветы. Живые или мёртвые — не поймёшь.

— Куда едем? — спросил он тихо, с хрипотцой.

— На кладбище, — сорвалось у меня. — На Южное.

Я сам не понял, зачем сказал это. Собирался ведь домой, на улицу Ленина, двадцать четыре. Но язык повернулся сам. Может, потому что полгода не навещал мать на могиле. Может, три стопки водки в баре сделали меня сентиментальным. А может, мне вдруг показалось, что именно туда и нужно.

Водитель не удивился. Только кивнул, словно услышал самый обычный адрес, и плавно тронулся.

Мы ехали по пустым, вымокшим улицам. Город лежал в дождевой пелене, светофоры расплывались в лужах дрожащими огнями. Редкие прохожие жались под козырьками остановок. Таксист вёл машину ровно, не спеша, и молчал. Я тоже молчал, прижавшись лбом к холодному стеклу.

Потом он заговорил — негромко, будто продолжал давний внутренний спор:

— Поздно едешь. Там сейчас закрыто.

— Я знаю. Через забор перелезу.

— Не боишься?

— Чего? Сторожа?

— Нет, — он усмехнулся уголком губ. — Я про другое. Мёртвых не боишься?

Я пожал плечами.

— А чего их бояться? Они уже ничего не сделают.

— Зря ты так думаешь, — ответил он и замолчал надолго.

Мы свернули с главной дороги на узкую улочку, потом ещё на какую-то — фонари там стояли редко, а то и вовсе кончались. Я всматривался в окно и не узнавал район. Всю жизнь прожил в этом городе, а этих переулков не помнил: дома старые, двухэтажные, с тёмными глазницами окон, и даже там, где горел свет, он был тусклым, неживым — словно свечи за плотными шторами.

— Мы куда едем? — спросил я. — Это не дорога на Южное.

— Дорога, — ответил он спокойно. — Просто короткая. Я здесь все закоулки знаю.

Я хотел возразить, но промолчал. Какая, в сущности, разница? Откинулся на сиденье, закрыл глаза. Голова слегка кружилась, выпитая водка глухо шумела в висках.

— А ты часто на кладбище ездешь? — вдруг спросил водитель.

— Нет. Раз в год, может.

— А мать свою давно навещал?

Я открыл глаза, посмотрел на него. Он по-прежнему глядел на дорогу.

— Откуда вы знаете про мать?

— Догадался, — сказал он, не оборачиваясь. — Мужик твоего возраста едет ночью на кладбище. Либо к матери, либо к жене. Жены нет — кольца не вижу. Значит, мать.

Я снова смежил веки. Логично.

Машина ехала ещё минут десять. Потом остановилась. Я открыл глаза, ожидая увидеть ворота с вывеской «Южное кладбище». Но мы стояли посреди какого-то пустыря. Фары высвечивали разбитую грунтовку, уходящую в темноту, и голые деревья по обочинам — мокрые, чёрные, похожие на обгорелые кости.

— Приехали? — спросил я.

— Почти, — сказал водитель. — Дальше пешком. Тут недалеко.

— А где мы вообще?

— Ближний вход. Через него быстрее.

Я взглянул на счётчик — он был выключен. И приложение на телефоне исчезло с экрана, сам гаджет погас, будто сел в один миг.

— Сколько с меня?

— Ничего. — Он чуть помедлил. — С тебя другая плата.

Я насторожился, пальцы сами нащупали дверную ручку.

— Какая ещё плата?

Водитель впервые повернулся ко мне. И я увидел его глаза — светлые-светлые, почти прозрачные, и в них отражался свет фар, но как-то неверно: не ярким бликом, а тусклым, словно свет просачивался внутрь и там гас.

— Ты уже заплатил, — произнёс он. — Тем, что сел в мою машину.

Я рванул ручку, вывалился наружу, в мокрую траву, сразу промочив колени. Машина стояла с включёнными фарами, мотор работал тихо, как дыхание зверя.

— Иди прямо по тропинке, — донеслось из тёмного салона. — Там тебя ждут.

— Кто ждёт?

Но машина уже тронулась, мягко развернулась и ушла, оставив меня одного на пустыре в крошечной тьме.

Я стоял и матерился сквозь зубы. Телефон не подавал признаков жизни. Дождь усилился, холодные струи текли за шиворот. Я озирался, пытаюсь понять, где я. Ни огонька, ни звука, только шум дождя и ветер в голых ветвях.

Делать нечего. Я пошёл по тропинке.

Она петляла среди деревьев, глина под ногами чавкала и скользила. Ветки хватали за одежду, словно пытались удержать. Я шёл и думал о словах водителя: «Ты уже заплатил тем, что сел». Бред пьяного таксиста-философа. Или нет?

Тропинка вывела меня к железным воротам. Старым, ржавым, с покосившимися створками, за которыми угадывались очертания крестов и надгробий. Кладбище. Только не Южное. Я бывал на всех погостах города, когда хоронил родных, и этого не знал. Оно было древнее, заброшенное: кресты деревянные, покосившиеся, могилы заросли, надписи на камнях почти стёрты.

Я толкнул створку, она со скрежетом отворилась. Вошёл.

Внутри стояла тишина — только дождь шуршал по прелой листве. Я побрёл по узкой аллее, вглядываясь в имена. Даты — начало двадцатого века, некоторые ещё дореволюционные. Фамилии незнакомые. Я шёл всё дальше, сам не понимая, что ищу.

А потом увидел свет. Впереди, между деревьями, горел фонарь — не электрический, а самый настоящий керосиновый, укреплённый на чугунном столбе. Под ним стояла скамейка, и на скамейке кто-то сидел.

Я приблизился. Женщина, пожилая, в тёмном пальто и чёрном платке, с зонтиком в руках. Она подняла голову, и я узнал её.

Мать.

Она смотрела на меня спокойно, чуть улыбаясь, словно мы расстались только вчера. А я стоял и не мог шевельнуться. Сердце колотилось где-то у горла.

— Ну что, сынок, — сказала она тихо. — Долго же ты ехал.

— Мам... — голос сорвался. — Ты же... тебя же...

— Знаю. — Она кивнула. — Полгода уже. А ты всё не идёшь. Вот я и попросила, чтобы тебя подвезли.

— Кого попросила?

— Его. — Она кивнула мне за спину.

Я обернулся. На аллее, метрах в десяти, стоял тот самый таксист. Без машины, в длинном тёмном пальто, и глаза его светились в темноте тем самым тусклым, угасающим светом.

— Ты кто? — спросил я.

— Перевозчик, — ответил он. — Я вожу тех, кому пора. Не всех — только кого выберу. Твоя мать просила за тебя. Сказала, ты потерялся. Не живёшь толком, а ждёшь чего-то. Вот я и решил: подвезу, пусть поговорит.

Я повернулся к матери. Она сидела такая же, как в последний год жизни, — уставшая, но с ясными глазами. И впервые за долгое время — без боли, что мучила её перед смертью.

— Мам, я не понимаю, — выдохнул я. — Я что, умер?

— Нет. — Она покачала головой. — Ты живой. Пока. Но ты же сам захотел сюда. Сам сказал: «На кладбище». Он просто исполнил твоё желание.

— Я не это имел в виду!

— Слова имеют силу, сынок. Особенно ночью, особенно когда их слышит тот, кто умеет слышать.

Она встала, подошла, взяла мою руку. Ладонь у неё была холодная, но не ледяная — просто прохладная, как у человека, который долго сидел на ветру.

— Зачем ты меня позвала? — спросил я. — Просто поговорить?

— Предупредить. Ты идёшь не туда. Твоя жизнь — она не там, где ты её ищешь. Пьёшь, работаешь на нелюбимой работе, никого к себе не пускаешь. Я смотрю на тебя оттуда и вижу: ты гаснешь, как свечка на сквозняке. Ещё немного — и он приедет за тобой уже не для разговора. А насовсем.

Я бросил взгляд на таксиста. Тот стоял неподвижно, статуей, и смотрел куда-то в темноту.

— Я не знаю, как по-другому, — признался я. — Не умею.

— Учись. — Мать сжала мои пальцы. — Пока время есть. А теперь иди. Он отвезёт тебя обратно. Но запомни: когда в следующий раз захочешь вызвать такси до кладбища — не делай этого. В следующий раз он может и не привезти обратно.

Она отпустила меня и пошла по аллее, растворяясь в дождевой мгле. Я стоял и смотрел, пока фигурка в тёмном платке совсем не растаяла среди деревьев.

— Поехали, — раздался голос за спиной.

Таксист уже сидел в машине, которая неведомо как оказалась прямо на кладбищенской аллее. Фары горели, дворники смахивали воду с лобового стекла.

Я сел. В салоне снова пахло табаком и цветами.

— Зачем вы это сделали? — спросил я. — Зачем привезли меня сюда?

— Она попросила. — Он тронулся. — Я редко выполняю просьбы. Но твоя мать была настойчива. И у неё был аргумент.

— Какой?

— Она сказала, что ты — мой будущий пассажир. Рано или поздно. И попросила дать тебе отсрочку. Чтобы ты успел стать тем, кем должен.

Я замолчал. Машина выехала с кладбища, запрыгала по грунтовке, потом выбралась на асфальт. За окнами снова появились дома, фонари, редкие прохожие с поднятыми воротниками.

— А если я не успею? — спросил я.

— Тогда встретимся снова, — просто ответил он. — Но уже без разговоров.

Машина остановилась у моего подъезда. Я вышел. Дождь кончился, небо на востоке начало наливаться бледной прозеленью рассвета.

— Спасибо, — сказал я, не зная толком, кого благодарю — мать или водителя.

— Не благодари. — Он наклонился к опущенному стеклу. — Просто живи.

Дверца захлопнулась, машина тронулась и скрылась за углом. Я стоял у подъезда, смотрел на светлеющее небо и думал.

С того дня прошёл почти год. Я уволился с работы, перестал пить, начал рисовать — то, что любил когда-то и забросил. Съездил к матери на могилу — днём, на автобусе. Приложение такси с телефона удалил. Вызываю машину только по старинке, через диспетчера, и всегда смотрю, кто за рулём.

Иногда, просыпаясь глубокой ночью, я слышу, как под окнами мягко останавливается автомобиль. Стоит минуту, две — и уезжает. Я не выглядываю. Я знаю, кто это. И знаю, что однажды он остановится не под окнами, а прямо у моей двери.

Но это будет не сегодня. Сегодня я ещё жив. Рисую. Вспоминаю мать. И стараюсь не прозвонить вслух, куда хочу поехать. Потому что слова, сказанные ночью, имеют обыкновение сбываться. Особенно если их слышит тот, кто всегда на дежурстве.

А он слышит. Всегда.

История №5. Мы тебя ждали



Ключи мне вручили в четверг — тяжёлая связка из трёх штук: от подъезда, от тамбура и от самой квартиры. Стальные, с мелкими бороздками, затёртые ладонями, но без ржавчины — живые ключи. Ключи от чужой жизни, которая вдруг стала моей.

Квартира досталась от двоюродной бабки, которую я видел в детстве раза два, мельком. Она жила одна в старом доме на окраине областного центра, ни с кем не зналась, а когда умерла, выяснилось, что других родственников нет. Я — ближайший. Нотариус позвонил, сказал: «Приезжайте, вступайте в наследство». Я и приехал.

Городок оказался пыльным, сонным, будто задремавшим ещё в прошлом веке. Дом — кирпичная пятиэтажка, шестидесятые, с облупившейся до кирпича краской и старыми липами во дворе, которые роняли липкие листья на мокрый асфальт. В подъезде пахло сырой штукатуркой и кошками, и тишина стояла такая, словно уши заложило. Я поднялся на третий этаж, вставил ключ в обитую дерматином дверь. Замок подался мягко, будто его только вчера смазали, — и это первое, что меня насторожило.

Внутри было чисто. Даже слишком. Я ожидал пыли, запустения, спёртого воздуха нежилого помещения, но прихожая встретила меня вымытым полом, пустой вешалкой, где сиротливо висела одна-единственная фетровая шляпа, и зеркалом у двери. В зеркале отразилось моё лицо — помятое после дороги, с тёмными кругами, — но отразилось как-то не сразу, будто зеркало сперва всматривалось.

Я прошёл в комнату. Светлая, с большим окном во двор. Мебель старая, добротная: сервант с фарфоровыми чашками, диван, накрытый вязаным пледом, круглый стол с кружевной скатертью. На столе — ваза с конфетами. Конфеты оказались свежие, в блестящих фантиках. Я взял одну, повертел: шоколадная, с целым лесным орехом. Срок годности — будущий год.

Я осторожно положил конфету обратно, и внутри шевельнулось холодное, липкое чувство.

Я обошёл квартиру — кухня, спальня, ванная. Всё так, как если бы отсюда вышли пять минут назад. В холодильнике — молоко, хлеб, масло, колбаса, без следов порчи. На подоконнике — герань в горшке с влажной землёй. В ванной — чистое полотенце, мыло в мыльнице, и зубная паста в стаканчике, как будто чьи-то пальцы только что сжимали тюбик. Я заглянул в шкаф — одежда, аккуратно сложенная, старая, пахнущая лавандой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.